

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЪКА И О ПУТЯХЪ ФИЛОСОФА

(Н. А. Бердяевъ. «О назначениі человѣка». Опытъ парадоксальной этики.).

«И знаю о такомъ человѣкѣ (только не знаю въ тѣлѣ или безъ тѣла, Богъ знаетъ), что онъ былъ восхищень въ рай и слышалъ неизреченные слова, которыхъ человѣку нельзя пересказать.. Такимъ человѣкомъ могу хвалиться; собою же не похвальюсь, развѣ только немощами моими». (II Кор. XII, 3-5)

«Прометей былъ, въ сущности своей, смиреннымъ. Онъ хотѣлъ только похитить огнь съ неба; онъ понималъ, что ему нельзя этого огня творить».

(Изъ одного парадоксальнаго разговора)

Если бы въ этой книгѣ было меньше парадоксовъ, ее можно было бы не называть «опытомъ парадоксальной этики». Правда, «парадоксальная» этика — звучитъ болѣе солено въ нашъ культурно-прѣсный, любящій остроту, вѣкъ, но на этомъ пути лежитъ печать нѣкоей временности, почти публицистичности. Можетъ быть оттого, что парадоксъ самъ по себѣ не духовенъ (эсхатологически не этиченъ). Онъ есть лишь философская акциденція рационализма, бывающагося въ своемъ кругу. Включающая въ себя, формально, эсхатологической отдѣль и внутренно движущаяся этимъ отдѣломъ книга, въ общемъ, составляеть впечатлѣніе скорѣе философско-публицистической, чѣмъ философско-мистической... И, какъ ни странно, наиболѣе публицистическими мѣстами, подчасъ, кажутся мѣста ея наиболѣе «мистическія» и наиболѣе мистическими — страницы, приближающіяся къ парадоксальной этикѣ... Въ этомъ можетъ быть, сказывается и не только формальная парадоксальность книги.

Какъ философское явленіе, книгу «О назначениі человѣка» надо глубоко привѣтствовать. Не лишенная, къ сожалѣнію, часто

обычного для автора полемического, не всегда оправданного пафоса, книга построена на такъ же обычномъ для автора алканіи правды: онъ казнить весь этическій міръ человѣка во имя алканія подлинныхъ этическихъ цѣнностей. И жалко становится, что эта праведная казнь... сама, въ концѣ концовъ, должна стать на эшафотъ своего же этическаго закона, направленного противъ недобраго или недостаточнаго доброго добра.

Человѣкъ - творецъ въ силу непреложности образа и подобія Творца. Вотъ реально-этическая основа міросозерцанія Бердяева. И этотъ «человѣкъ-творецъ» становится и долженъ стать идеаломъ человѣка современной эпохи, въ коей — по мнѣнію автора — потускнѣли идеалы прежнихъ историческихъ эпохъ: святости, эллинскаго канона красоты, героичности, рыцарства... Не раскрытое въ человѣчествѣ Богочеловѣчество требуетъ раскрытия образа Божія — Образа Творца — въ этикѣ и жизни человѣка. И авторъ беретъ на себя эту задачу: выискать, опредѣлить и оправдать образъ Творца въ человѣкѣ. Задача трудная, и именно для Н. А. Бердяева, который умѣетъ столь творчески-правдиво разоблачить не только человѣческую жизнь, но и человѣческую этику, да еще въ свѣтѣ безпощаднаго закона парадоксальности.

Н. А. Бердяевъ апологетъ свободы, и потому мы будемъ свободно говорить о его книгѣ.

Тотъ эпиграфъ Гоголя, который онъ помѣстилъ во главѣ своей этики: «грусть оттого, что не видишь добра въ добрѣ», мы считаемъ цѣннымъ эпиграфомъ для отзыва и о его во-многомъ цѣнной, книгѣ о добрѣ.

Гоголь глубоко постигъ качество грусти христіанина въ мірѣ сѣмь. Конечно отъ этого онъ сжегъ результаты своего человѣческаго пониманія творчества. Бердяевъ проходитъ мимо этой трагедіи творчества въ «мірѣ сѣмь», а обнаружение ея помогло бы уяснить многое въ основной проблемѣ его парадоксальной книги.

Желая философски разсѣять гоголевскую грусть, Бердяевъ подчеркиваетъ ее, открывая во всей ея наготѣ трагичность этическаго бытія міра. Какъ бы до конца снимается маска съ лица міра прелюбодѣйнаго и грѣшнаго. Въ этомъ большая заслуга Бердяева, пошедшаго крестнымъ путемъ Начальника Жизни, обличавшаго ложное добро (фарисеевъ и книжниковъ) болѣе видимаго зла (мытарей и блудницъ). Разоблаченіе лицемѣрія, огненное устремленіе къ послѣдней правдивости — сіяніе этической чистоты. Но, конечно, нельзя забыть, что огонь этого устремленія можно взять лишь рукою метафизического (змѣино-мудраго) смиренія... Здѣсь опять трагическая парадоксальность книги, запечатлѣвшаяся въ нѣсколькихъ ея срывахъ. На пути правдивости философская этика должна

дойти до предѣловъ книги «о назначеніи человѣка» и не сомнѣнно перешагнуть ихъ, неся въ Божью безкочечность свой крестъ «безумія и юродства» предъ «міромъ» — крестъ послѣдней мудрости предъ Богомъ Творцомъ.

Основной вопросъ этической системы «назначенія человѣка» — о творчествѣ остается по существу не решеннымъ у Бердяева, хотя и намѣченнымъ — хотѣлось бы сказать — вѣрно. Тупикъ вопроса этого въ томъ, что въ категоріяхъ христіанского разума «творецъ» не можетъ быть инымъ идеаломъ, чѣмъ «святой». Образъ и подобіе Божіи должны открыться Духомъ, въ отвѣтъ на творческую самоопредѣлительную свободу человѣка. Господь призываетъ творить добро и признаетъ великимъ лишь сотворившаго и — потомъ уже — научившаго (Мате. 5, 19). Это и есть святость, ни предѣла коей, ни какихъ-либо единыхъ формъ нѣть. Формъ столько, сколько лицъ человѣческихъ, и даже болѣе.

Поставивши проблему творчества, какъ человѣческаго назначенія, Н. А. Бердяеву надо было бы (соответственно-значительно) выявить ложную онтологію творчества. Это проблема какъ разъ его этики, но она далеко не достаточно раскрыта въ книгѣ, и читатель можетъ быть близокъ къ впечатлѣнію, что въ пониманіи творчества человѣка авторъ лишь косвенно отражаетъ апостольскій опытъ — опытъ двухтысячелѣтняго христианства, творившагося въ духѣ и истинѣ. Наиболѣе значительная часть книги — о фантазмахъ, кроме остроты философскаго прогноза, еще и тѣмъ значительна, что является какъ разъ анализомъ ложной онтологіи творчества. Къ сожалѣнію, авторъ не захватываетъ наиболѣе широкой области фантасмагоріи: фантасмагорію философскаго творчества фантасмагорію лже-мудрости и лже-искусства человѣческаго, обоготворяющаго хаосъ падшаго космоса, являющагося соблазномъ ложной культуры, царствующей (вѣрнѣе — княжествующей) въ мірѣ.

Не нужная, и не отражающая дѣйствительности полемическая струйка, льющаяся въ книгѣ противъ нѣкоторыхъ свв. отцовъ *, можетъ дать невѣрное направленіе мысли читателя, хотя возможно, что «тактически» является и благопріятнымъ симптомомъ для круга нѣкоторыхъ лицъ, привѣтствующихъ не только «свободу въ Церкви», но и «свободу отъ Церкви». Весь опытъ Церкви стоитъ на молитвенномъ творчествѣ («творить» молитву) и само «личное спасеніе», противъ котораго такъ

*) Трактатъ св. Моф'дія Патарскаго «Пиръ десяти дѣвъ» жалонъ и баналенъ. «Трактатъ бл. Августина невозможнѣо читать, такимъ духомъ мышанства отъ него разитъ» . . . (стр. 251)

считаетъ нужнымъ вооружаться авторъ, есть по существу (въ его подлинной, святоотеческой сути) нѣчто безконечно отличное отъ узко-эгоистического замыканія души въ свою самость. «Спасеніе мое» цѣликомъ (помимо всѣхъ творчествъ!) в нѣ меня — в о Христѣ, а Христосъ — Спасеніе в сѣхъ, Онъ Альфа и Омега жизни. Въ немъ надо «погубить душу свою», «свое» творчество... Погубить можно только то, что имѣшь... Невольно вспоминаются слова старца Нектарія Оптинскаго: «Богъ творить только изъ ничего... надо себя сотворить ничѣмъ, и Богъ будетъ изъ тебя творить. Пресвятая Богородица болѣе другихъ сотворила Себя «ничѣмъ», и болѣе всѣхъ вознесена Богомъ». Младенческая простота и мудрость этихъ словъ, могутъ ли быть эпиграфомъ какой нибудь философской книги о творческомъ назначеніи человѣка? Вопросъ существенный для пути философіи. Старецъ Нектарій, какъ и говорившій объ этомъ же митрополитъ Филаретъ, тоже вѣдаютъ меоническую свободу человѣка, но какъ «младенцы о Христѣ» протягиваютъ ее Отцу для творчества второго творенія — второго рожденія

Примѣчательно, что своей идеей «творчества», полемически противопоставленного «личному спасенію», Бердяевъ (невидимо для себя) столкнулся съ фактъмъ творчества Иисуса со-вой молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грѣшнаго.» Эта духовноносная (обильная неисчислимымъ плодами) молитва, весь смыслъ свой полагающая не въ личности творящаго ее, а въ Господѣ Иисусѣ Христѣ, представляетъ наглядный примѣръ «неэгоистического эгоизма» христіанскаго, какъ любви «всѣмъ сердцемъ», какъ распятія во Христѣ человѣческой личности. Бердяевъ самъ не можетъ не утверждать этого: «Нужно любить ближняго, какъ самого себя: значить нужно и самого себя любить, почитать въ себѣ образъ Божій. Эта любовь противоположна эгоизму и эгоцентризму, т. е. помѣщательству, ставящему себя въ центръ вселенной». (стр. 140). И потому фантастическими кажутся его слова о томъ, что «творить невозможно при одномъ непрестанномъ чувствѣ грѣховности и при одномъ смиреніи» (стр. 140). Чувство грѣховности всегда «непрестанно» и должно, какъ воздухъ, проникать во всѣ поры человѣческаго творчества, составить атмосферу земной человѣческой жизни подъ Благодатію. (Это глубо-чайшимъ образомъ выражено Церковью въ покаянной молитвѣ пятидесятаго псалма, читаемаго священникомъ при каждомъ алтаря во время херувимской пѣсни, образующей ангельское состояніе

1) «Я просто не хочу имѣть никакого спасенія въ себѣ самомъ. Потому и пришелъ я ко Христу, что созналъ неимѣніе ничего спасительного въ себѣ» (мысль всякаго христіанина).

молящихся). Далѣе, смиреніе подлинное—развѣ можетъ оставаться «одно»? Не является ли смиреніемъ всякой трудъ, всякое дѣло, всякое истинное служеніе христіанина?.. «Внутри христіанскаго міра — говорить далѣе Бердяевъ — противоборствуютъ двѣ моральныя направленности: смиреніе и творчество, мораль личнаго спасенія и страха гибели и творческая мораль цѣнностей, мораль отданія себѧ преобразованію и преображенію міра» (стр. 145). Искусственность этой схемы — такимъ образомъ выраженной — несомнѣнна. Безъ соли духовнаго истиннаго смиренія невозможно никакое христіанско творчество. Христіанско творчество, не осоленное смиреніемъ, это — *contradictio in adjecto*.

Преображеніе же міра — по слову Божію — есть дѣяніе Славы Божіей, а отнюдь не падшаго, изгнаанаго изъ рая человѣка, не могущаго безъ Славы Божіей преобразить, ни преобразовать даже самого себѧ. И, конечно, — ни единой песчинки въ мірѣ! «Безъ Меня не можете творить ничего», — *Заранье сдѣланная божественная поправка ко еспль импющимъ произнестись въ исторіи человѣческимъ словамъ о творчествѣ*.

Если Бердяевъ возстаетъ противъ лже-смиренія, лже-пониманія глубинъ грѣховности, то это необходимо выразить гораздо яснѣе. Ибо лишь въ этомъ послѣднемъ случаѣ его новая моральная концепція творчества будетъ — для христіанъ — соотвѣтствовать извѣчной евангельской истинѣ и войдетъ въ сокровищницу познанія Церкви.

Вопросъ о назначеніи человѣка еще глубже, чѣмъ его ставить Н. А. Бердяевъ. И не скрываются ли въ его альтруистическомъ бореніи, противъ своего «личнаго спасенія», элементы не-творческаго упрощенія проблемы личности человѣческой, высоко возвышающейся надъ эгоизмомъ человѣческимъ во всѣхъ проявленіяхъ своего духа. Бердяевъ здѣсь явно не учитываетъ преображенія «личнаго сознанія» — этого центральнаго момента христіанской аскезы Благодати. Мы знаемъ три ступени въ приближеніи къ Богу: рабская, наемническая и сыновняя. Но на сыновней ступени (моментами, извѣстной жизни каждого христіанина) теряется всякое ощущеніе между рабствомъ Богу, наемнической службой Ему и преданностью сыновней. Ибо по отношенію къ Пресвятой Троицѣ всѣ живыя, молитвенные чувства человѣка безконечно святы и высоки и не поддаются никакимъ мѣркамъ человѣческихъ отношеній. По отношенію къ Святѣйшему Святыхъ — Слову Божію всѣ три чувства человѣческихъ ступеней сливаются, преображенныя въ одно царство Божіе, приходящее въ «силѣ» (Мр. 9, 1) и заливающее внутренняго человѣка. Смерть благоразумнаго разбойника тому примѣръ.

Не можемъ не утверждать, что человѣку надо всецѣло потерять, распять, испепелить свое мнимое, свое интеллектуальное безкорыстіе, когда начинаетъ казаться человѣку будто онъ выше «корыстныхъ» евангельскихъ понятій о наградахъ и наказаніяхъ. Не можемъ не утверждать, что человѣкъ никогда не переростаетъ на землѣ понятій, данныхъ въ Евангеліи. По мѣрѣ пріятія Духа, понятія эти преображаются, но никогда не перерастаетъ ихъ человѣкъ. И потому соблазняться евангельскими образами разсчетливости или считать ихъ принадлежащими низшему, экзотерическому кругу, — это не понимать глубинъ Евангелія. Можно безошибочно сказать что въ словахъ духовной корысти (о «покупкѣ» Благодати), проповѣданныхъ препод. Серафимомъ Мотовилову, гораздо больше сыновняго безкорыстія, чѣмъ во многихъ отвлеченныхъ трактатахъ, говорящихъ о высокихъ чувствахъ безкорыстной любви къ Богу. Категорія земныхъ «высотъ» и благородствъ не примѣнима къ высотѣ и благородству евангельскому. Надо этическо-эсхатологически распять свой мірь душевной гносеологии, провести и въ философіи принципъ: «Дай кровь и пріими Духъ».

Словно боится Бердяевъ быть «безумнымъ» въ очахъ чистой философіи міра сего и слишкомъ трудно преодолѣваетъ дурную безконечность опустошенно-логического гносеологизма. Найденный выходъ «парадоксальности» (удвоенный эсхатологичностью) конечно, даетъ автору нѣкій мандатъ на благовѣстіе Истины Христовой въ предѣлахъ новой найденной почвы, но и заключаетъ автора въ этихъ предѣлахъ. Парадоксальность же, какъ гносеологическое орудіе, имѣть несомнѣнно два конца: остроту эсхатологичности и тупикъ рационализма.

Трагизмъ этики Н. А. Бердяева исходить изъ слишкомъ «все же» большой близости (не свободно-арбитральной, подчиненно-кровной) къ ложнотворческимъ проявленіямъ и достижениямъ міровой философской мысли, подлежащей болѣе опредѣленному суду евангельской истины. «Какъ ни интересно все, что говорить Ницше, истина заключается въ прямомъ противоположномъ» (стр. 123) — вотъ образецъ ложно-великодушной, «двойственной философіи», притупляющей (апокалиптически-охлаждающей) свою истину.

Мы совсѣмъ не хотѣли бы ставить передъ авторомъ задачъ формально-философского самоубийства. Закваскѣ не надо выходить изъ тѣста. Но было бы утѣшительно увидѣть въ творчествѣ Н. А. Бердяева еще болѣе независимую линію. Болѣе независимую отъ философіи, чѣмъ отъ Церкви. Линію меньшей зависимости отъ дурно-безконечной, ложно культурной оригинальности, столь смѣшивающей въ культурѣ міра съ идеей творчества.

Если бы Н. А. Бердяевъ не боялся зависимости отъ «теологии» *), не боялся бы быть даже слугою ея въ самомъ чистомъ значеніи этого слова, т. е. преськъ бы традицію псевдо-свободной философіи: быть въ феербаховской оппозиціи къ теологии, — онъ могъ бы назвать свою книгу: «опытъ духовной этики», ибо его книга преодолѣваетъ «душевную» сферу философіи и идетъ по духовной сферѣ профетическихъ утвержденій, укорененныхъ въ вѣрѣ Христовой, спасающей Духомъ и философію и этику отъ сѣрости самодовольной добродѣтели. Центръ и значеніе книги въ философскомъ свидѣтельствѣ (понимаемъ это слово первохристіански) о Христѣ, о Словѣ - Смыслѣ, сотворившемъ міръ — Альфѣ и Омегѣ бытія.

Совсѣмъ напрасно авторъ нападаетъ на «ортодоксальную теологію», чтобы удержаться въ своей философской свободѣ. Ортодоксальная теология въ лицѣ хотя бы трехъ ея столповъ, названныхъ Церковью ея представителями въ этой области, т. е. свв. Іоанна Богослова, Григорія Богослова и Симеона Нового Богослова, — не очень уже противорѣчить всѣмъ творческимъ утвержденіямъ его... А въ чемъ противорѣчить, тамъ она намъ кажется болѣе права, чѣмъ Н. А. Бердяевъ.

Бердяевъ говоритъ: «Философія приходитъ къ результатамъ познанія изъ самого познавательнаго процесса, она не терпитъ навязыванія извнѣ результата познанія, которое терпитъ теология» (стр. 6). Гдѣ и какъ терпитъ теология «навязываніе извнѣ» (?) результатовъ познанія? И, если счастье навязываніемъ воспріятіе откровенныхъ истинъ (какъ это имѣло мѣсто у перечисленныхъ выше столповъ церковной теологии) то неужели философія не терпитъ этого процесса пріобщенія къ дѣбому познанію? Конечно, терпитъ — и вся исторія философіи тому свидѣтельство — но различіе существенное лежитъ межъ двумя дисциплинами: подлиное теологическое познаніе связывается дѣтскою простотою вѣры и любви ко Спасителю-Логосу, философское же, мнимо-свободное познаніе всегда находится въ положеніи змѣи, пожирающей свой хвостъ, т. е. вращается въ атмосферѣ неочищенного благодатію ума и не освобожденного отъ дѣбелости плотскихъ тумановъ сердца. Преп. Исаакъ Сиринъ, пошедший путемъ вѣры и благодатныхъ откровеній, очень вы-

*) Трудно опредѣлить, что, собственно, Бердяевъ понимаетъ подъ «теологическимъ міровоззрѣніемъ», о которомъ онъ говоритъ, что оно «совпадаетъ съ натуралистическимъ эволюціонизмомъ» (стр. 37) въ «отрицаніи творчества». Напр. православный никейскій символъ вѣры, являющійся экстрактомъ теологического міровоззрѣнія, — въ чемъ онъ «совпадаетъ съ натуралистическимъ міровоззрѣніемъ»?

разительно говорить объ этомъ состояніи «внѣшнихъ философъ» *), дѣля тѣмъ самыи философію на «внѣшнюю» (по отношенію къ Церкви Христовой, конечно, по смыслу: I Кор. 5, 13) и на другую «внутреннюю» философію, воспринятуу имъ самимъ, какъ служеніе Духу.

Но, въ сущности, всегда правильнѣе говорить не о томъ, что «философія приходитъ» или «теология терпитъ» какое-либо построеніе, но что человѣкъ приходитъ, человѣкъ терпитъ, ибо фактически, въ земномъ порядкѣ обѣихъ дисциплинъ, одинаково могутъ быть и благодатно-познающіе истину вѣчнаго Откровенія и мудрствующіе въ границахъ плотскаго (иногда очень тонкаго) ума.

Самыми блестящими страницами книги слѣдуетъ признать первыя главы стдѣла «конкретные вопросы этики». Думается, что удача Бердяева въ этомъ отношеніи будетъ отъ него въ дальнѣйшемъ требовать творчества въ направленіи эсхатологико-практической этики (или «этики практическаго творчества»). Книга его, въ общемъ, мало доступна среднему читателю мыслительныхъ книгъ, а вопросы творческой этики — вопросы именно читателя, а не академіи. Этическая философія должна перерости академичность своей мудрости. Въ этомъ было бы наиболѣе реальное ея культурное завоеваніе и оправданіе. (Конечно это также путь не мірской, не «философской» теологии).

Разочаровываетъ эсхатологической отдѣлъ. Самое введеніе его въ этику — мудрое творчество автора, но трактовка вопроса реально не сдвигаетъ его со своего эсхатологического мѣста. «Оправдать» адъ Бердяеву совершенно не удалось... даже въ отрицаніяхъ его. И, да проститъ намъ авторъ, здѣсь съ удивительной ясностью раскрылось слово Божіе о «посрамленіи мудрости мудрецовъ» и отверженіи «разума разумныхъ». Разумъ, даже оплодотворенный Логосомъ, даже профетическо-христіанскій уперся въ тупикъ и бьется, какъ раненая въ сердце птица. Вѣрнѣе, какъ Икаръ, упадаетъ разумъ, растопивъ свои крылья у огня Премудрости Божіей, черезъ положенную черту которой ему не дано переступать. И — не скроемъ — радостно созерцать, какъ бьется мудрость мудреца въ тенетахъ дѣтской простоты Откровенія, не въ силахъ летѣть выше... туда, куда уже влечеть Самъ Духъ тѣхъ, кто распялъ въ себѣ не только ветхую этику,

*) «Умъ имѣеть созерцаніе для созерцанія себя самаго. Въ немъ то внѣшніе философы и вознеслись своимъ умомъ и представлениіи твари».

но и всю парадоксальность этики новой. «Основной признакъ философії духа тотъ, что въ ней нѣть объекта познанія»... (стр. 9), говоритъ авторъ, соединяя этимъ философію и жизнь. Остается вопросъ о способахъ осуществленія этого соединенія, какъ творческаго акта дѣйствительного познанія. Подлинная трудность осуществленія этой связи ощущается въ объективированіи Живого Бога въ самой книгѣ о назначеніи человѣка. Это объективированіе не можетъ оставаться во всякой таѣ называемой «философіи духа», которая будетъ одновременно упираться и на остріе эсхатологичности и въ тупикъ парадоксального ratio.

Подлинная философія духа — и въ этомъ ея основное отличіе отъ недуховной философіи — должна содержать въ себѣ молитву, какъ атмосферу своего познанія. Большая ошибка считать Духъ выражаемымъ отвлеченно. Нельзя духовно говорить «о Духѣ», можно лишь говорить «Духомъ». Духъ не поддается объективизаціи, и въ этомъ подлинное постиженіе философское — дойти до этого сознанія. Но это сознаніе должно быть и перейдено. Нѣть иного способа осуществленія гносеологического познанія Духа,, какъ лишь черезъ молитву. Молитва, какъ всякое подлинное дѣло жизни, овитое духомъ молитвы, носить въ себѣ иной міръ — тотъ міръ, котораго не знаетъ «культурная философія» или о которомъ она только знаетъ. Подлинное томленіе разума именно въ томъ, что онъ, доходя до познанія своей недостаточности и, приемля знаніе «о Богѣ», остается незнающимъ Бога, не преображенныемъ въ Духѣ, хотя и принявшимъ (отвлеченно) «приматъ Духа».

Философія, преступившая этотъ предѣлъ, становится «молитвой разума», теряетъ методъ холодной объективизаціи Господа (присущей, несомнѣнно, нѣмецкой мистикѣ, какъ отчасти и Н. А. Бердяеву), соединяется съ сердцемъ-духомъ, выходитъ на сыновній, крестный путь «отверженій», дѣлается менѣе «широко-терпима» къ возстаніямъ противъ воли Отца — не по нелюбви къ возставшимъ, но по любви къ Истинѣ Кроткаго Божьяго Беззащитнаго здѣсь отъ нападеній людскихъ Духа. «Философія духа» можетъ быть только такой.

Ибо самый серіозный вопросъ этой философіи — вопросъ: какого духа? — благодатнаго, соединившагося со Святымъ Духомъ или — пустого отъ Благодати, оккультнаго холоднаго духа, — тоже духа, такъ же могущаго быть освобожденнымъ отъ матеріи, но оставленнымъ, оставшимся безъ соединенія съ Живымъ Богомъ.

Бердяевская философія не болѣеть этимъ — истинно творческимъ для всякаго духовнаго познанія вопросомъ. Духъ человѣка, не оплодотворенный Святымъ Духомъ, представляеть

собой большую познавательную опасность, чѣмъ плоть. Весь соблазнъ оккультныхъ теософскихъ и антропософскихъ системъ состоитъ въ этомъ. Слѣды этого же видны и въ творчествѣ Бердяева. Понимая, конечно, всю ложь оккультной антропософіи и теософіи, Бердяевъ еще недостаточно отдалъ свое творчество Живому Богу-Отцу, недостаточно усыновилъ его Единому Учителю Іисусу Христу. И потому холодный огонекъ «автономнаго» человѣческаго духа еще пробѣгаєтъ по страницамъ его творчества — творчества, идеологически нашедшаго вѣрный путь, но не имѣющаго еще вѣры слѣдовать имъ до конца.

Подъ «творчествомъ молитвы» мы не разумѣемъ одной элевації... Паскаль, столь же сколь и Францискъ Ассизскій, былъ на Западѣ творцомъ «молитвенного творчества». (Изъ западныхъ современниковъ — Эрнестъ Элло, Леонъ Блуа... Беремъ имена для бѣглого примѣра). Религіозная мысль Востока, преимущественно, этого типа.

Молитва православія — мученическаго евангельскаго православія — можетъ идти, конечно, обоими путями въ мірѣ: путемъ молчанія и путемъ творчества. Н. А. Бердяевъ будетъ принадлежать второму пути Церковной культуры, если онъ не отгородится мнимой свободой мнимаго творчества отъ всячески страждущаго въ мірѣ Тѣла Христовой Церкви, воинствующей съ духомъ міра и торжествующей познаніемъ Бога.

Ученіе книги «о назначеніи человѣка» о томъ, что человѣческая свобода исходить только «наполовину» отъ Бога, а другой половиной исходить изъ меонического «ничто» (изъ которого сотворенъ человѣкъ), не есть ли попытка отгородиться своимъ творчествомъ — своей свободой — отъ Творца, лишь въ Коемъ Единоимъ обрѣтаетъ, истинно, человѣкъ свою свободу? Развѣ «образъ и подобіе» человѣка восходятъ одновременно къ Творцу и къ «меоническому ничто»? Не есть ли это ученіе о двухъ образахъ и подобіяхъ въ человѣкѣ, одновременно даровавшихъ человѣку свободу? Если подлинно одинъ образъ и одно подобіе въ человѣкѣ, то не можетъ быть двойственности источника свободы. Не слѣдуетъ ли, наоборотъ, утверждать то меоническое ничто, къ которому тянется иногда человѣкъ, отходящій отъ Бога, какъ источникъ н е - с в о б о д ы ? Драгоценнѣйшее и неповторимѣйшее слово «свобода» — можетъ ли уйти для человѣка изъ Объятій Отчихъ?.. Намъ кажется, что ища второй «рукавъ» своей свободы, внѣ лона Отчаго, Бердяевъ теряетъ ощущеніе Богосыновства, — того, что онъ самъ такъ трепетно ищетъ въ человѣкѣ. Немыслимо уйти человѣку изъ лона Отчаго, не найдя здѣсь полноту своей — именно не отвлеченной, именно не діалектической, но — сыновней свободы.

Сыновне погубить въ лонѣ Творца всѣ признаки своей автономно-меонической свободы, чтобы обрѣсти ее во вселенной творенія, здѣсь вся евангельская истина объ Отцѣ Небесномъ, о любви къ Нему неисповѣдимой и о нахожденіи своей жизни черезъ погубленіе ея въ Немъ. *Полу-отдача* себя Богу, полуоставленіе себя въ пустотѣ ничто, — уничтожающая человѣка философія, которую разрушилъ въ мірѣ Сынъ Божій. Это философія любви къ Богу только отъ половины разума своего, отъ половины крѣпости и отъ половины сердца.

Господь-Творецъ погубилъ всю неописуемость Божества Своего и Творчества на Крестѣ смертномъ передъ глазами человѣческими, а человѣкъ не можетъ погубить (безъ всякихъ остатковъ!) свободу своего меонического ничтожества передъ Богомъ?!. Что могло быть позволено нѣмецкому мистику, вышедшему изъ протестантского апофатизма, то горько въ устахъ православно-апостольской философіи духа.

Невѣрными и недостойными благодатного духа кажутся въ книгѣ мысли Бердяева о «бibleйскомъ пониманіи Бога». Вотъ что говоритъ онъ — съ несомнѣннымъ чувствомъ справедливости въ своихъ намѣреніяхъ, но вполнѣ не по существу: «Можно ли сказать, что Богу не присуща никакая душевная жизнь, никакія аффективныя и эмоциональныя состоянія? Статическое пониманіе Бога, какъ чистаго акта, не имѣющаго въ себѣ потенцій, самодовольства, ни въ чемъ не нуждающагося есть философско-аристотелевское, а не бibleйское пониманіе Бога. Богъ Библіи, Богъ Откровенія совсѣмъ не есть чистый актъ, въ немъ раскрывается аффективная и эмоциональная жизнь, драматизмъ всякой жизни, внутреннее движение, но раскрывается экзотерически. И поразительна ограниченность человѣческой точки зрѣнія на Бога (не всякой ли отвлеченной? — добавимъ. . I.) Богу боятся приписать внутренній трагизмъ, свойственный всякой жизни, тоску по своему другому, по рожденію человѣка, но никакъ не боятся приписать гнѣвъ, ревность, месть и пр. аффективныя состоянія, которыя считаются предосудительными для человѣка. Существуетъ глубокая пропасть между пониманіемъ человѣческаго совершенства и Божіаго совершенства. Самодовольство, самодостаточность, каменная бездвижность, гордость, требованіе безпрерывнаго себѣ подчиненія — все свойства, которыя христіанская вѣра считаетъ порочными, но Богу ихъ спокойно приписываетъ» (Подчеркнуто нами. I. I.) (стр.32)... Цитируя эти мысли Н. А. Бердяева, мы изумлены ихъ легкомысленностью, столь несвойственной автору. Когда и гдѣ, и какая «христіанская вѣра» могла говорить подобныя вещи? Мириться съ грѣховностью

Божества, съ человѣческой эмоціональностью Его — это дѣло сумеречного политеизма, который, конечно, можетъ своеобразно возродиться въ томъ или иномъ псевдо-вѣрующемъ христіанинѣ, но за который немыслимо дѣлать отвѣтственной «христіанскую вѣру». Церковь понимаетъ афекти Божихъ дѣйствій въ мірѣ (о коихъ повѣстуетъ Библія) отнюдь не эмоціонально, и е сообразно человѣку, но сублимационно. Дѣйствие сублимациії производить благодатный «страхъ Божій» — высо-чайшее благоговѣніе — предъ Творцомъ, пронизывающее всѣ человѣческія (необходимыя для человѣка) понятія о Немъ. Языкъ аффектныхъ понятій — младенческій языкъ земли, ко-торый преодолѣвается лишь «страхомъ» («ужасомъ», по Бердяеву) сублимирующимъ содѣржаніе каждого человѣческаго понятія, обращенаго къ Богу.

Въ Церкви не можетъ даже и возникнуть вопроса о понима-ніи Бога, «какъ чистаго акта» или какъ «статики». Если своего земного отца нельзя разсматривать, какъ «чистый актъ» или какъ «статику» (это было бы выраженіемъ, можетъ быть философской любви, но не человѣческой), такъ тѣмъ болѣе о Небесномъ Отцѣ Живомъ нельзя говорить въ категоріяхъ мертваго объек-тивизма.

Безконечны духовныя постиженія близости Господа, но всѣ они — вѣкатегорій, вѣкъ «философіи» даже. Конечно, и тѣ, которые закрѣплялись въ богословскихъ апофатическихъ и ка-тафатическихъ выраженіяхъ. Символъ св. Григорія Чудотвор-ца — лучшій отвѣтъ Н. А. Бердяеву, какъ «христіанская вѣра» понимаетъ Живого Бога, Котораго гораздо больше любить, чѣмъ понимаетъ, гораздо больше исповѣдуется, чѣмъ опре-дѣляеть. И у подвижниковъ вѣры церковной, какъ и у подвиж-никовъ церковной мысли выражено Богопознаніе, какъ молча-ніе чувствъ и дѣйствіе Духа.

Не во всей существенности Бердяевъ воспринимаетъ самъ и смыслъ священства Церкви. Священство-апостольство не только символической знакъ, но и сила реальная, независимо отъ то-го, пользуется или не пользуется этой силой кто-либо (или да-же самъ священникъ). Священство — посредничество любви, посредничество тайнъ, талантъ особой власті, вручаемой грѣшному человѣку. Онъ есть талантъ подлиннаго и высокаго творчества, по вѣрѣ Церкви, и именно Н. А. Бердяеву, въ связи съ его системой эсхатологической этики, легче всего было бы воспринять священство, не какъ символику, даже «реальную», но какъ реальность. Однако, онъ видѣтъ два міра: міръ символи-ки и міръ реальности, и священство относить къ первому міру, противополагая ему святость, какъ чиновничеству государства —

государственный героизмъ. Но в ласть не символъ, а реальность. Реальность власти можетъ обезвѣтиться до символизма (можетъ быть этимъ процесомъ соблазняется Бердяевъ), но тогда это будетъ возстаніе противъ реальности. Какъ Причастіе можетъ быть принято безъ вѣры, но оно отъ этого не обратится снова въ хлѣбъ, но останется Тѣломъ, и вкушающій безъ вѣры вкусить судь. «Святого» и «священника» нельзя смѣшивать, но уже никогда нельзя противополагать. Нельзя противополагать «небо» и «день», но сочетаться эти понятія могутъ. Здѣсь нѣть элементовъ противоположенія. Священство, при грѣховности священника, но при вѣрѣ его въ даръ свой, или по вѣрѣ другого, можетъ быть большей реальностью святости, большимъ освященіемъ земли, чѣмъ неукорененная въ порядкѣ міра, т. е. не имѣющая дара освященія земли святость. До Суда, до «видѣнія», въ земной лице атмосферѣ вѣры, въ коей мы всѣ живемъ, невозможно проводить окончательной границы между символической и реальной святостью. Священство же, имѣя въ себѣ реальную символику, конечно въ сознаніи православной вѣры является болѣе твердой и гносеологически ясной реальностью, чѣмъ святость.

Духъ нѣкотораго неразличенія явствененъ и въ полемикѣ Бердяева противъ «страха» вообще, какъ этическаго материала. Здѣсь авторъ является глазамъ читателя какъ бы захваченнымъ фантасмагорической стихіей, которую онъ самъ, столь творчески обличилъ въ своей же книгѣ. Категорія страха цѣликомъ дѣлается примѣнима къ нему же самому, ибо онъ высказываетъ страхъ предъ страхомъ (...такой же, какъ и передъ «личнымъ спасеніемъ»).

Въ томъ и тайна духовной этики, что не всякий страхъ противорѣчитъ любви. Благовѣніе любви — страхъ, но ангельскій, Божій. И потому онъ — «начало Премудрости» — по слову Премудраго. Не плотской, бѣсовскій, безблагодатный, но сыновній, духовный, который есть творческая атмосфера Благодати, по свидѣтельству всѣхъ тѣхъ, кои имѣли совершенную любовь. «Въ какомъ страхѣ и трепетѣ пребываютъ христіане?» спрашиваетъ преп. Макарій Египетскій, и отвѣчаетъ: «Чтобы не поползнуться въ чѣмъ-нибудь, но пребывать въ согласіи съ Благодатью» (Бесѣда 27).

Тотъ, который хотѣлъ быть отлученъ отъ Христа за братьевъ, котораго никакіе ангелы не могли отлучить отъ любви Христовой, онъ до конца дней страшился самого себя, сознавалъ, что течетъ измѣнчиво-творческимъ поприщемъ жизни и силу безстрашія полагалъ лишь въ живущемъ въ немъ Христѣ.

Приводоположеніе «рабъяго страха» — «мистическому ужа-

су» нѣсколько искусственно. Оно цѣнно можетъ быть для дидактическихъ разсужденій. Но лучше не мѣнять духовной терминологіи, сложившейся тысячелѣтіями, въ словѣ Божьемъ укорененной, и все равно понятной лишь тому, кто самъ идетъ къ духу.

Отрывъ отъ своего же эсхатологического воспріятія реальности у Н. А. Бердяева и въ пониманіи «закона», какъ нормы. Бердяевъ титанически борется съ закономъ, какъ нормой. Но эта борьба аналогична борьбѣ съ Богомъ тѣхъ атеистовъ, которые не съ Живымъ Богомъ борятся (ибо они Его не знаютъ), но со своей фикціей о Богѣ И. Н. А. Бердяевъ борется со своей фикціей о Законѣ, съ своимъ закономъ о законѣ. Но «законъ» — понятіе гораздо болѣе духовное и эсхатологическое, чѣмъ то кажется чистому или практическому разуму. Законъ — Тайна Бытія, а совсѣмъ не «норма». Норма, это отраженіе — всегда слабое — закона. Законничество есть неповиновеніе закону, худшее, чѣмъ беззаконіе. Законничество, это лишеніе Закона Духа. И въ это законничество, только «съ другой стороны», впадаетъ всякой борящійся съ законничествомъ черезъ умаленіе духа и тайны Закона.

Законъ евангельского духа, законъ небесной жизни, конечно, цѣликомъ вложенъ былъ въ Ветхій Завѣтъ, только не раскрыть, икономически. Не нарушить законъ прищель Господь... И намъ нельзя нарушать его, отожествляя съ нормой. Царство Божіе — Небесный Іерусалимъ — есть новое раскрытие того же Единаго Творческаго Закона, который не имѣеть иной нормы, кромѣ: «будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ Небесный совершененъ есть». Законъ — безконечная святость Бытія въ Богѣ, отъ котораго ни юта не можетъ отпасть.

Этотъ Божественный Законъ, трудно постигаемый мудростью, но лишь довѣріемъ любви къ Законодателю, соблазнительный для іудеевъ-законниковъ и являющійся безуміемъ для эллиновъ-мудрецовъ, — этотъ Законъ открылъ міру — какъ откровеніе Истины — тайну двухъ путей человѣческой свободы: широкаго и узкаго. Чрезъ все Евангеліе проходитъ эта недомыслимая тайна, постижимая лишь черезъ всесожигающую любовь къ Богу. Это Божье пророчество объ Истинѣ Жизни и Смерти, о пшеницѣ и плевелахъ — есть такой же Крестъ, какъ все Евангеліе, и, помимо возвѣщенія реальности, служитъ мѣрою вѣры-довѣрія человѣка къ Богу и погубленія своего ветхаго добра, — того самаго недобраго добра, той самой мало-справедливой справедливости, на которая праведно возсталъ Н. А. Бердяевъ, не дошедшій только до конца своей эсхатологической этики, обернувшійся назадъ, — взглянуть на свое горячее

старое философское отечество, и... остановившійся, въ созерцаніи оставленнаго.

Ветхій разумъ («кичаши», какъ мудро говорили свв. отцы) не пріемлетъ тайны, одной изъ самыхъ великихъ: тайны сыновняго свободнаго послушанія «угонзанія въ Сигоръ» (см. Великій Канонъ св. Андрея Критскаго), изъ горящихъ городовъ. Онъ не имѣть силъ (евангельской любви!) возненавидѣть «отца и мать»—свои ветхо-этіческія категоріи: разстаться съ философіей своей «доброты», съ культурой своей «справедливости».

Признать ничтожество своихъ этическихъ оцѣнокъ или хотя бы понять ихъ относительность для надмірнаго Бытія, современному законническо-культурному сознанію человѣка столь же трудно, сколь древнему законническому сознанію іудеевъ было; принять своимъ Богомъ — Страдающаго на Крестѣ Человѣка, лишеннаго общественно-принятой этической нормы. То былъ соблазнъ, и это есть соблазнъ ложной культуры, — не сыновней, не знаящей Отца.

«Соблазнъ адомъ» есть соблазнъ ветхой этики, той «доброй» этики, которую творчески образумилъ Н. А. Бердяевъ, но изъ которой онъ самъ до конца не вышелъ *). Какъ на рубежѣ ветхой и новой эры человѣчества — двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ — человѣкъ - законникъ хотѣлъ ограничить Бога нормой высоты и отдаленности отъ земли, такъ и теперь человѣкъ, соблазненный закономъ ложной культуры, хочетъ ограничить Бога нормой этики своего меланхоличнo-нравственного масштаба.

Невозможно принять того, что адъ есть «проблема». Это данность, если и испытуемая, то только какъ данность. Данность эта аналогична данности бесъменного зачатія.

Адъ есть дѣйствительность, дѣйствительность антропо-демонологическая — безусловно восходящая по ту сторону антропологической этики... Реальность «дѣтей діавола» (Іоан. 8, 44), творящихъ похроти «отца своего» и «ничего» (!) (Іоан. 14, 30) не имѣющихъ во Христѣ, изображена въ Евангеліи образомъ плевеловъ, всѣваемыхъ врагомъ въ пшеницу, невидимыхъ въ періодъ роста всходовъ (исторія культуры), и только послѣ какого то времени замѣчаемыхъ... Все это бѣзмѣрно углубляетъ (и упрощаетъ!) вопросъ, дѣлая его во всякомъ случаѣ непосильнымъ для той методологіи, которой придерживается философія Бердяева, въ этомъ пунктѣ особенно теряющая соль своей эсхатологичности.

*) Несмотря на прекрасныя свои слова: «Суда нѣдѣль Богомъ быть не можетъ, ибо Онъ есть источникъ всѣхъ цінностей, съ точки зрѣнія которыхъ происходитъ судъ». (стр. 48) Вотъ здѣсь — зарожденіе той сыновнѣй этики, о которой говорили мы.

Христіанінъ - філософъ призывающій общество къ послѣдней правдивости, долженъ самъ выдержать испытаніе эсхатологического мужества и правдивости, своей любви къ Богу, какъ своего безграничного благоговѣйнаго довѣрія къ данному Слову, Его всецѣло потусторонней справедливости, столь же возвышающейся надъ нашей этической атмосферой, сколь небо надъ нашими крышами.

Иначе, безъ «погубленія души своей», своего мятущагося разума въ небѣ Евангелія (радостномъ, свѣтломъ конечно погубленіи сыновнемъ!) трудно почти невозможно выходить на проповѣдь въ мірѣ подлинно новыхъ, подлинно правдивыхъ словъ христіанской этики.

Христіанство обезсолилось совсѣмъ не только потому, что много лицемѣровъ числится въ немъ, но главнымъ образомъ потому, что обличающіе лицемѣріе сами не до конца доводятъ ни свое бѣгство изъ ветхаго, уничтожаемаго Богомъ міра чувствъ и помышленій, ни свою огненную любовь къ Живому Отцу, ту любовь, которую свелъ на землю Сынъ Человѣческій, и — какъ томился, пока она возгорится (Лук. 12, 49). Священники, учители, філософы христіанства, судь надъ которыми во много разъ острѣе — не до конца доводятъ свою возможную въ мірѣ преданность Богу: распинаютъ міръ себѣ, но не распинаютъ себя міру.

Н. А. Бердяевъ несомнѣнно оказываетъ услугу філософіи, что въ ущербъ своей чистотѣ устремленія къ духу, гносеологически почти не отрывается отъ не-христіанской філософской культуры, въ которой благовѣстуетъ христіанскій эсхатологизмъ этики. Эта его заслуга, это культурное дерзновеніе, конечно хотѣлось бы видѣть въ всѣхъ пробѣловъ, всѣхъ не-совершеній его «методологіи духа».

Невозможно не испытать этическаго удовлетворенія отъ філософскаго умерщвленія не-эсхатологической этики Канта, къ сожалѣнію умерщвленной не до конца.

Безотносительное «творчество» уже оправдываетъ книгу тѣмъ, что она написана... Творчество же Духа Истины ее оправдываетъ тѣмъ, что она предполагаетъ свое развитіе (и — если надо — свое уничтоженіе).

Самое цѣнное въ книгѣ Бердяева — этическая печаль о несовершенствѣ добра и добрыхъ. Это ощущеніе безмѣрныхъ совершенствъ Отца Небеснаго и подчиненіе Его заповѣди о пріятіи этихъ совершенствъ, какъ «нормы» этическаго закона.

Не христіанскіе філософы «ищутъ». Христіанскіе — «доискиваются». Філософія Бердяева есть эта цѣнная христіанская доискивающаяся філософія... Могущая доискаться до самоотрицанія, во имя высоты своихъ исканій.

«Человѣкъ есть существо недовольное самимъ собою, способное себя переростать» стр. 51), говоритъ Бердяевъ.

Если до этого послѣдняго, дѣйствительно, можетъ доискаться свобода ветхаго человѣка, то это — признакъ ея вѣры въ правдивость словъ: «собою же не похвалюсь, развѣ только немощами моими»... словъ первого философа свободнаго духа — болѣе святого, чѣмъ творца.

Иеромонахъ Иоаннъ
(Шаховской)

Сергіево Подворье.